страницы воспоминаний

О Федоре Ивановиче Шаляпине

Евгений ХОХЛОВ

Архив старого журналиста. Блокноты, записные книжки. Приглашения на вечера, интересные встречи. Визитные карточки с русским, иностранным текстом. Они — и многолетней давности, и совсем близкие, на кончике памяти.

И рукописи, рукописи... Что-то перепечатано, что-то наскоро записано на обрывке и приколото к блокноту — одно, нет, два слова: «Федор Шаляпин!»

Зарубка для памяти.

И вспомнилось. Уже незадолго до конца автор этой записи Е. С. Хохлов сказал: «...Прошу вас, если что... то, пожалуйста, разберитесь. — Глазами показал на папки: — Разберитесь в моем архиве. Ближе вас и Колюшки (Н. К. Вержбицкий.—Э. М.) нет никого... Может, что пригодится...»

...Я перебираю страницу за страницей, и перед глазами встает образ того, кому принадлежали эти воспоминания, что не успела слабеющая рука дописать...

Свыше пятидесяти лет пробыл Евгений Сергеевич Хохлов за рубежом. Журналист, сатириконец, поэт. Увлекался киноискусством. Написал сценарий. Начались съемки. Часть из них должна была проходить в Турции. Там и застали революционные события 1917 года.

Долгие годы его, как щепку после кораблекрушения, носило по разным городам. Потом прибило к Парижу. Хлебнул много горя. Натерпелся холода, голода, нужды. Но не сломался.

Постепенно стал возвращаться к старой профессии журналиста. Репортерил в газетах, журналах. Ловил каждую весть с Родины, противостоял, как мог, враждебной кампании недругов Советского Союза среди эмиграции. С окончанием второй мировой войны он оказался в числе тех русских людей в Париже, которые много сделали для того, чтобы правда о новой России, о стране социализма стала доступной всем, желающим видеть и слышать.

И все время Е. С. Хохлов мечтал приехать в родную Москву, к старым знакомым.

Последние годы тоска по Родине стала такой нестерпимой, что больше ни о чем думать не мог, кроме того, чтобы вернуться домой!

...В прекрасной московской квартире хорошо думалось, писалось. И все равно выполнить все намеченное не успел.

Предлагаемые отрывки «Рассказов о Ф. И. Шаляпине» — мизерная часть того, что было задумано их автором Е. С. Хохловым.

Эд. МЕДВЕДОВСКАЯ

В ТРИДЦАТЫХ ГОДАХ я много раз виделся с Шаляпиным, его близкими друзьями. Бывал у него дома на тихой улице, где против окон высилась Эйфелева башня. Великий артист устроил свое жилище, свой «дом», который он так любил, с тем вкусом и чутьем к прекрасному, которые были одной из граней его гения. Это была, в сущности, не квартира, а картинная галерея. И начиналась она с лестницы. Старинные мастера красовались на входной галерее. Всюду драгоценная мебель, кресла в старинных гобеленах. В гостиной, несколько сбоку, именно в том месте, где того требовали условия освещения, висел портрет Федора Ивановича работы Серова и Коровина. В студии — восхитительной комнате с верхним освещением, где огромность помещения удивительно сочеталась с непередаваемым уютом, — над гигантским камином резного дерева помещался портрет Шаляпина работы художника Кустодиева. По словам близких, это был любимый портрет Федора Ивановича.

...Прошло уже десять дней со дня смерти великого певца, а письма, телеграммы продолжали приходить со всех концов земного шара. Весь огромный стол в студии был ими завален. Разборкой корреспонденции занимались дочери артиста.

Улучаю момент и обращаюсь к Лидии Федоровне с просьбой рассказать читателям журнала, где я работал, о последних днях жизни отца.

— Мы уже давно знали, что болезнь у него очень опасна. Примерно за неделю врачи, уже ничего не скрывая от нас, сказали: положение безнадежно. От этой болезни — острого белокровия — спасения нет. Больше того, они даже удивлялись, что организм отца с такой силой и так стойко борется с болезнью.

Отец очень мучался, но даже в таком состоянии находил силы шутить с нами, его сиделками. Однажды, это было примерно за три дня до конца, отец почувствовал себя особенно хорошо. Он спел такую звучную и чистую руладу, что мы, знавшие, что дни, больше того, часы его сочтены, чуть не зарыдали что мы слышим его в последний раз.

— Самой характерной чертой отца,— добавила вторая дочь Федора Ивановича, Татьяна Федоровна, — в последние дни его жизни была какая-то кротость и примиренность. Он подзывал к себе то одну, то другую из нас, говорил нам нежные слова, ласкал. Как-то ему было очень плохо, но он изо всех сил сдерживал стоны, а когда вошла наша самая младшая, Дуся, отец улыбнулся, чтобы скрыть от нее страдания, положил ее голову к себе на грудь, несколько раз провел рукой по ее волосам, а потом тихо, проникновенно, как мог делать только отец стал рассказывать нашу любимую сказку — «Скырлу».

Эту сказку мы помнили с самого раннего детства. Сейчас слушать ее было больно до слез...

— ...Шел однажды по лесу медведь. А в том лесу жил лесник со своей лесничихой. И поставил тот лесник в лесу капкан. А медведь шел, шел и попал лапой в капкан. Взревел Мишка не своим голосом. На его рев прибежала лесничиха. Видит, медведь в капкане. Схватила она нож и чик его по лапе. Освободился он и так без лапы, на трех ногах, — наутек... А старуха взяла эту лапу, принесла домой, содрала с нее шкуру и стала варить из нее щи. А потом собрала со шкуры шерсть и стала из нее прясть пряжу.

Прошло много дней, сидит как-то старуха у себя в избушке ночью, горит у нее лучина, за окном ветер воет. Вдруг она слышит: идет кто-то по лесу... Туп, туп, туп... Идет кто-то, словно на деревянной ноге... Прислушалась старуха и слышит — идет медведь и приговаривает: «На липовой ноге, на березовой клюке я по селам шел, по деревням шел, уже все в селах спят, и в деревнях тоже спят. Одна бабушка не спит, на моей ноге сидит, мою шерстку прядет, мою косточку грызет... Скырррррла... Скырррррла... Скырррррла...»

Когда отец произносил это «скырррррла», изображая своим волшебным голосом, как скрипит у медведя деревянная нога, мы все кричали от ужаса. А потом весело смеялись. В этот раз мы не кричали и не смеялись. Отец устало откинул голову, а мы на цыпочках вышли из комнаты и дали волю слезам...

●

Теперь уже не вспомню зачем, но мне пришлось быть у Ф. И. Шаляпина на авеню Эйлау, где он жил со своей семьей.

Гостиная на нижнем этаже. Позолота рам, краски картин, сплошь покрывавших стены. В окнах — надвигающиеся сумерки. Мы не зажигаем свет, хочется по русскому обычаю посумерничать. Федор Иванович, что-то рассказывая, часто подымался со стула. Его мощная высокая фигура виднелась то в одном, то в другом конце комнаты. Голубые глаза, внимательные и глубокие, испытующе поглядывали из-под чуть надменно очерченных бровей. Правильные черты лица дышали проникновенностью и человеческим величием.

Я ловлю себя на том, что меньше всего слышу то, о чем говорит Федор Иванович. А вслушиваюсь в вибрацию и оттенки его голоса, упиваясь этими звуками. Они то звучали гонгом, то органной музыкой, и у меня в памяти оживали легендарные образы тех, кого Шаляпин исполнял на сцене: князя Игоря, Бориса Годунова, Мефистофеля, Дон Кихота...

— Моя мечта — создать образ Ермака... Вы помните историю?

Я не успеваю еще собраться с мыслями, а уже Шаляпин с увлечением и явной симпатией к этому необыкновенному русскому мужику красочно рисует кусок жизни древней России, отображающей царствование Ивана Грозного.

Но с каким удивительным знанием деталей он ведет свой рассказ! Чувствуется, что им прочитана не одна книга об этой эпохе, а он сам уже лепит образ будущего своего героя на сцене.

Пока Шаляпин воскрешал передо мной историю жизни Ермака Тимофеевича, наступила ночь. Я и не заметил, как она пришла. Зажгли свет. Лицо Федора Ивановича озаряло восторженное воодушевление. Он дышал с трудом.

— Что-то сердчишко пошаливать стало...— И, снова возвращаясь, видимо, будучи мыслями все еще в плену эпохи Ивана Грозного, под обаянием фигуры Ермака, он воскликнул: — Ах, русская земля! Как я люблю ее, эту русскую землю! Как я ее знаю...— Голос его зазвучал глуше.— Знаете, о чем я теперь больше всего думаю? О детстве, о днях моей нищеты. Я был так беден, что вымаливал деньги на покупку гроба моей матери... Она была так ласкова ко мне... И она была так нужна мне...

С проникновенной нежностью Шаляпин рассказывал о своем детстве, о том, как он проходил «свои «университеты», сначала у переплетчика, потом у бакалейщика и, наконец, у сапожника. Все его детство сопровождало гнетущее чувство голода. Грязь, холод, побои — вот из чего складывались его детство и отрочество. Потом были дебюты ярмарочного шута, кафешантанного певца, оперного хориста.

— Боже мой, как все это далеко и как все это близко! Говорят, что давние воспоминания воскресают в памяти человека с приближением смерти... Быть может, так оно и есть...

И он, словно подчиняясь неизбежной судьбе, наполнил наши рюмки. Для него так оно и было. Но в нем, в этом великолепном организме, таилось еще столько силы, столько мощи, что он после нашего разговора еще продержался целый год. И пел, несмотря на больное сердце, на короткое дыхание, с тем же чувством и художественным чутьем полубога...

...Я слышал Федора Шаляпина в роли безумного мельника в «Русалке» и еще в двух ролях — князя Игоря и Бориса Годунова — и понял, что такое безумие, радость, величие и горе человека...

●

Своими воспоминаниями в свое время поделился со мной один театральный деятель. Он считал, что слава Шаляпина затмила крупнейших артистов мира — Кина, Баттистини, Сальвини и Карузо.

Однажды, дело происходило в Киеве, выражаясь театрально, по шпалам пришла туда труппа «прогоревших» актеров. Ни денег, ни перспектив — одним словом, Счастливцев и Несчастливцев из «Леса» Островского. Местные артисты решили в честь голодающих собратьев организовать сбор. Обратились и к Шаляпину. «Ну, положим, дам я им сто рублей, — сказал он. — Так ведь они пропьют, а потом опять на бобах останутся. Нет, давайте придумаем что-нибудь другое. Надо им наладить гастроли».

— Да, но на это тысячи надо! — усомнился кто-то.

И каково же было удивление товарищей, когда в ответ они услышали:

— Ну, что же, и тысячи найдем!

В тот же вечер, в день своего спектакля, в антракте на авансцену без грима выходит Федор Иванович и обращается к публике. Так, мол, и так, в Киев прибыли прогоревшие актеры. Они в трагическом положении, надо помочь...

Откуда-то добыл шапку и с ней пошел по рядам. Собрал он тогда около трех тысяч. А там, когда рассказы о поступке Шаляпина пошли по городу, посыпались пожертвования. Труппа была спасена.

Шаляпина упрекали в жадности, в том, что он давал мало спектаклей с благотворительной целью. Это его, между прочим, очень огорчало. «Помилуй, — жаловался он другу. — Да ведь если я какому-нибудь учреждению спою, мне житья не будет от просьб. Откажу — еще пуще ругать станут. Даже не знаю, как и быть...» От него некоторые благотворительные учреждения получали чеки на тысячи рублей. Но он всегда просил, чтобы это оставалось в тайне.

— Пусть уж лучше считают меня жадным, эдак лучше, а главное—спокойнее.

...Россию Федор Иванович любил страстно и все время тосковал по ней.

— Я не понимаю, — говаривал он в минуту душевных переживаний, — почему я, русский человек, русский артист, должен выступать за границей. Как бы тонок ни был иностранец, но лучше, чем русский человек, он меня не оценит. В России меня понимала и ценила по-настоящему галерка. Там была моя настоящая публика. Для нее я и пел. А здесь, за границей, и галерки-то нет...

●

Эту прелестную новеллу о Федоре Ивановиче мне тоже довелось слышать в мою бытность в Париже от его близких друзей.

...Откуда вышел Шаляпин? Оказывается, из сапожников. Случилось так, что Федору Ивановичу довелось быть в Казани. Ему вспомнился старый пригород и в нем сапожник, который под пьяную руку деревянной колодкой колошматил по голове Федьку, замореного, худого мальчонку.

Напротив хибарки сапожника, через улицу, стояла другая такая же, а в ней жил портной Глузман. Бывало, как только он заслышит крик мальчика, тотчас же бросает работу и бежит выручать своего маленького друга.

— Что ты делаешь, Иван, как тебе не стыдно! — Старик вырывал из рук сапожника колодку, а мальчика брал к себе. Утешит и накормит его чем бог послал. А жена портного, Эсфирь, всегда по пятницам пекла пирог и, пока он был еще горячий, зазывала маленького Федьку к себе и оделяла вкусным куском.

Картины страшного детства, злобного, будто это было вчера, вставали перед глазами Федора Ивановича, когда он вступил на немощеные, изрытые дождями улицы казанского пригорода.

Покрывшаяся лачуга стояла на том же месте, где когда-то обучался сапожному ремеслу Федор Иванович. Нагнувшись, чтобы не удариться о низкую притолоку, переступил порог «Федька». Сердце забилось тревожно, тоскливо, словно это был не он, уже артист с большим именем, а все еще сапожный подмастерье, которого ждет выволочка. Но вместо сапожника, старого хозяина, за столом сидел портной Глузман. На носу большие очки, длинная седая борода, в руках мелок, которым он намечал раскрой сукна.

— Здравствуйте, господин. Что вам угодно? Может быть, пиджачную пару? А может, починить срочно что-нибудь? Я и смокинг могу пошить, почему нет!

Лицо Федора Ивановича светилось от радости встречи.

— А где же сапожник?

— Э, давно помер...

— А не помните ли мальчика, был такой у него...

— Федьку? Как же я могу забыть такого хлопчика... Ведь это был хороший мальчик, только очень худенький был, совсем заморыш...

— А не знаете, куда он девался?

— Болтают люди, будто этот самый Федька стал певцом, будто стал самим Шаляпиным... Будто у Федьки открылся такой голос, такой голос... И откуда он взялся, я вас спрашиваю, когда это был такой худенький ребенок?..

— А что, если я вам скажу, что Федька — это я и есть!

— Ой, что вы шутите так, господин, дай вам бог здоровья!.. Федька был такой щупленький, а вы такой...

— А вот вас я сразу узнал. Вы портной Глузман. Вы всегда защищали меня своей спиной, а ваша жена Эсфирь кормила меня по пятницам горячим пирогом, никогда в своей жизни я таких вкусных пирогов больше не ел...

— Ей-богу, вы-таки Федька, извиняюсь, господин Шаляпин. Эсфирь, Эсфирь, посмотри, кто к нам пришел! Ой, вы-таки да действительно Федор Иванович...

Суетилась и плакала старая Эсфирь. Шумел самовар на столе, и лились бесконечные воспоминания о старой жизни на улице пригорода, где покосившиеся хибарки вросли в землю.

— Я хочу за вашу доброту ко мне что-нибудь сделать вам на память, — сказал Федор Иванович, — например, я вижу, что у вас протекает крыша. Разрешите, я уплачу кровельщикам, плотникам, и они сделают вам хороший дом...

— Э, нет, Федь... извиняйте, Федор Иванович. Сколько мне там осталось жить, как-нибудь с Эсфирью мы доживем, а вот мой племянник, у него домик просит ремонта, вот если бы ему...

Три лишних дня прожил в Казани Шаляпин, лично проследив, как идет ремонт дома у племянника старого портного. Даже ставни новые заставил сделать.

— Да, но я и вам хочу что-нибудь тоже сделать, господин Глузман. Я не могу так уехать...

— Ой, я очень хотел бы сняться с вами...

Федор Иванович исполнил желание своего доброго друга. Одну фотографию он оставил портному, другую — увез с собой и держал ее под замком с другими дорогими ему сувенирами...

●

Вот что рассказывал мне как-то мой хороший знакомый Григорий Хмара, бывший артист Московского Художественного театра:

«В моей ранней юности я часто заглядывался, как все русские люди того времени, на известную открытку, изображавшую Горького и Шаляпина: Горький сидит, а Шаляпин стоит, наклонившись над ним. Оба — в широкополых, «шаляпинских» шляпах. Передать чувство, овладевшее мною, когда я увидел в первый раз живого Шаляпина, я не в состоянии...

Это было за кулисами Московского Художественного театра, в котором я уже работал. Давали «Царя Федора Иоанновича» с Москвиным в заглавной роли. Я исполнял в этом спектакле роль с одной фразой, но и это меня наполняло гордостью и счастьем.

Вдруг на сцене и за кулисами распространилась всех волнующая весть: в зрительном зале Шаляпин — пришел смотреть спектакль.

В антракте он появился за кулисами, в уборной Москвина (которого, как я позднее узнал, Ф. И. очень любил).

Сотрудники театра столпились около уборной Москвина. Дверь была затворена, но все же до нас доносился бархатный голос Шаляпина. Священный трепет охватил меня. Вдруг дверь распахнулась (Москвину, очевидно, было нестерпимо жарко в его царском облачении).

Мы поспешно отпрыгнули, но все же увидели Ф. И.: он сидел на диване в углу, заложив ногу на ногу, великолепный, прекрасный, озаренный особым светом, исходившим от него. Все в нем было замечательно: как он сидел, как был одет. Рубаха, галстук, визитка, ботинки с гамашами, брюки в полоску — все выглядело на нем не так, как у других. Даже белизна его носового платка сверкала не так, как у других, и самый платок в его руках казался живым существом. Жесты и движения у него были как у пластичных зверей: не то лев, не то тигр, не то арабский конь.

Говорил он с Москвиным вполголоса: Ф. И. всегда говорил вполголоса, точно боялся оглушить слушателя, дав своему голосу волю. Смеялся он глубоким смехом, на низких басовых нотах. Когда Шаляпин, присутствуя в театральном зале, начинал смеяться, вся публика оборачивалась в его сторону и потом уже не сводила глаз с него.

Я спросил однажды, что он испытывает, когда находится на сцене.

— Что испытываю?.. — Он задумался. — Вот вы заказываете хорошему столяру шкатулку и просите сделать так и этак, чтобы форма была такая и чтобы закрывалась она как-то особенно. А он, выслушав, отвечает: «Будьте спокойны — все будет сделано как полагается, будьте уверены, не извольте беспокоиться». Вот так и я: когда берусь за роль, я говорю мысленно зрителю то же самое: будьте покойны, не извольте беспокоиться. Все будет сделано как полагается.

Это простое и образное сравнение раскрывает многое в искусстве Шаляпина. Вероятно, и Микеланджело, и Рафаэль, и Бенвенуто Челлини, и все великие мастера поступали так же, вдохновлялись тем же: «Не извольте беспокоиться, будет сделано как полагается».

В театре Зимина давали «Бориса Годунова». Накануне собрались у меня: И. М. Москвин; Николай Крымов (известный художник и чудак, страстно влюбленный в Москвина, но ни разу его не видавший на сцене); А. И. Южин, артист Малого театра; М. М. Климов, тоже артист Малого театра, блестящий кулинар и страстный охотник, отлично исполнявший цыганские песни времен Пушкина; Ф. Шевченко, артистка МХТ, ярко выраженный тип русской красавицы с изумительным грудным голосом, прекрасно певшая русские и цыганские песни. Александр Блок очень любил слушать в ее исполнении «Две гитары» Аполлона Григорьева.

Федор Иванович, конечно, как всегда и везде, где бы он ни был, — центр внимания, радость вечера. Артистическая среда вдохновляюще действовала на него.

Удалью и красотой веяло от него. Помню, он пришел в этот вечер в меховой поддевке, в высоких белых валенках, вокруг шеи — свободно брошенный алый шерстяной шарф, весь запушенный снегом в крупных звездах: стояла зима, лютая, трескучая. Он пришел последним: все его поджидали. Сели за стол, выпили с холоду по стопке, закусили «климовской» ветчиной, и потекли часы беспечной радости и веселья. Все шумели, прерывая друг друга. Спели несметное число песен, и главное — он тоже пел. При нем стеснялись петь, хотя бы это пение не имело ничего общего с искусством. Все знали, что для него главное — не «что», а «как».

Любил Федор Иванович петь старый романс «Глядя на луч пурпурного заката». Пел он его, конечно, изумительно, вкладывал в романс столько чувства и выразительности, что в его исполнении текст приобретал необычное значение.

Шаляпин был неотразимо прекрасен во время пения. Чуть откинувшись на спинку дивана, он сидел, наклонив голову набок. Волосы, несколько спутанные, свисали на лоб «шаляпинским» коком. На лице — печать вдохновения. У слушателей — выражение восторга и настороженное внимание к каждому оттенку фразировки. Никто не заметил, как засинел за окнами снег, все стало голубым, зачиналась заря. Федор Иванович спохватился:

— Господи! Ведь мне сегодня вечером еще петь Бориса! Скорей домой, домой...

Я был свободен в тот вечер и пошел к Зимину слушать — который раз! — Шаляпина в «Борисе». Чтобы повидать его до начала спектакля, я отправился за кулисы. Когда я вошел в его уборную, он даже не взглянул на меня, а продолжал, сидя за роялем, распевать голос. Но всякий раз, когда доходило до верхних нот, голос его не достигал привычной гибкости и эластичности: ночь, проведенная без сна, и усталость давали себя знать.

Проделав упражнения несколько раз и убедившись, что голос не удается наладить, он встал, захлопнул крышку рояля и заявил, что петь не будет: спектакль необходимо отменить. Забегали какие-то люди, раздавался стук в дверь уборной, входили, выходили, шептались, но никто не осмеливался настаивать, чтобы он все-таки пел. Спектакль уже отменили, а он все еще сидел в уборной — злой и раздраженный. Когда я осмелился высказать предположение, что, может быть, напрасно он отменил спектакль. Шаляпин сказал:

— Бы, может быть, видели, как борцы-гимнасты поднимают в цирке штанги: подымет с земли, донесет в уровень плеч, потом легко и свободно выжмет вверх. А я нынче в таком состоянии, что поднять-то голос с земли могу, а вот выжать легко и свободно вверх сил не хватает. А пение напряжения не терпит.

Здесь нет места пересказать все то, что мне довелось от него услышать. Судьба сводила меня с ним неоднократно. Он все мечтал сыграть в драме: какой бы это был Лопахин в «Вишневом саде»! Какой бы это мог быть король Лир, Отелло, Люцифер в «Каине» Байрона! До боли жаль, что он так и унес эти образы в могилу».

●

О Шаляпине уже накопились целые тома воспоминаний, рассказов, анекдотов, не говоря о чисто критической литературе, посвященной его искусству. И все же каждый раз, когда памятная дата оживляет в представлении облик великого певца, хочется вновь и вновь слушать людей, знавших его. Шаляпин был не только замечательным певцом и артистом: он был отмечен печатью гения во всем — в своем разговоре, в костюме, во всей своей повадке.

Однажды пишущему эти строки пришлось провести несколько часов в обществе человека, знавшего Шаляпина очень близко бывшего с ним в большой личной дружбе и связанного с ним деловыми отношениями. Это известный импресарио Л. Д. Леонидов, показавший мировой публике едва ли не всех современных знаменитостей. Жаль только, что нельзя воспроизвести то мастерство, с которым Л. Д. Леонидов их передавал: в нем самом пропадал незаурядный артист. Рассказы его о Шаляпине можно было слушать часами.

«— Вот говорят, — рассказывал Л. Д. Леонидов, — что Шаляпин был капризен, что он из-за пустяков отменял свои концерты в последнюю минуту, заставляя публику возвращаться из театра ни с чем. А знаете ли вы, что не было артиста более совестливого, более правдивого, скажем прямо, честного по отношению к самому себе, чем Шаляпин? Он не говорил громких слов, иногда был грубоват, но за всем этим у него таилось подлинно благоговейное отношение к своему искусству. Когда у него, по его мнению, голос «не звучал», он не мог, не хотел, по его выражению, «обманывать публику».

— Помилуйте, — говорил он. — Такие деньжищи берем! Иной, чтобы послушать Шаляпина, последние гроши истратит. Ведь нас за это жуликами называть будут.

И концерт отменялся. А публика, не отдавая себе отчета в том, что это было сделано в ее же интересах, потом укоряла Шаляпина за его «капризы».

Но вот, помню, был случай, когда Шаляпин от этого правила отступил — и был за это жестоко наказан. Тут я должен вам рассказать эпизод шаляпинского «провала». Да, да, был и такой случай в карьере Шаляпина! Что делать — из песни слова не выкинешь. К тому же этот «провал», как потом узнаете, был заглажен последующим триумфом.

Дело было так. В тридцатых годах мы делали турне по Восточной Европе и должны были дать концерт в Варшаве. За месяц до него, еще в Берлине, я получил телеграмму, что билеты все проданы. А цены, надо вам сказать, были назначены такие, что я и сам побаивался — не переборщили ли мы. Хорошо. Приехали мы в Варшаву утром: он из Парижа, я из Берлина. И уже с утра замечаю я, что он не совсем в форме. А у него уже тогда появились признаки диабета, и болезнь сушила ему голосовые связки. Это его всегда очень волновало, а волнение в свою очередь еще более усиливало недомогание.

Словом, прихожу я к нему вечером, чтобы ехать в театр. Он был уже готов (был на этот счет всегда пунктуально точен): в цилиндре, в этаком белом шарфе — очень был красивый человек, и стильный. И опять вижу — не в своей тарелке Шаляпин. Покашливает, голос пробует.

— Не звучит, — говорит. — Кха, кха, ампли-ту-да, ма-а-амма. Нет, не звучит...

Я так и похолодел: знаю уже, чем все это грозит.

— Ну как-нибудь, — говорю, — Федор Иванович... Может, обойдется.

— Ну что ж, попробуем. Поедем.

Поехали мы в театр.

Ф. И. ШАЛЯПИН напевает граммофонные пластинки. 1913 год

Расстроен Шаляпин был ужасно: на этот счет был чувствителен чрезвычайно. А тут еще: в театре в уборную пришлось подниматься на третий этаж без лифта. Шаляпин опять разволновался, ругается, отплевывается. Пришел в уборную, опять голос пробовать. «Нет,— говорит. — не звучит. Надо концерт отменять».

Я стал доказывать невозможность это сделать.

— Помилуйте,—говорю, — Федор Иванович, у нас не только все билеты проданы, но еще в проходы человек пятьсот пущено. Ведь, если мы концерт отменим, тут Ходынка произойти может.

А сам говорю его аккомпаниатору, М. Р., который должен был первым номером выступать — соло на рояле.

— Идите скорей, начинайте.

Тот вышел и стал играть что-то шопеновское. Вышло это чрезвычайно неудачно: в Варшаве к Шопену относятся как к святыне, там не всякий его играть может. По залу сразу так холодок и прошел. Но вот вышел Шаляпин. Аплодировали минут пять: все встали, словом, как будто все в порядке. Запел Федор Иванович, и на первых же тактах вдруг опять: кха, кха. У меня даже волосы зашевелились. А Шаляпин, как он иногда это делал, решил взять «игрой»: не поет, а фразирует и при этом жестикулирует, расхаживает по сцене. Признаюсь, я испытал в этот момент настоящую, человеческую жалость к этому замечательному артисту, который вынужден был против своей воли «обманывать» публику. И публика этого не простила. Все первое отделение прошло под знаком этого холодка. Провала в том виде, как его принято понимать, разумеется, не было, — по отношению к Шаляпину это было бы немыслимо, но те жиденькие аплодисменты, которыми его провожали, для него были истинным фиаско.

Едем мы домой вдвоем на извозчике, шляпы на лоб надвинули, чтобы публика не узнала, молчим.

— Эх, — говорит Шаляпин, — не следовало мне сегодня петь! А ведь вот, отмени я концерт опять, стали бы на меня помои лить за мои капризы. Беда...

Но худшее было еще впереди. На другой день и утренние, и дневные газеты разразились такой желчной критикой, какой я никогда ни до того, ни после не видал. Все тут было: и ядовитые намеки на то, что, мол, двадцать лет было одно, а теперь другое; что пора некоторым артистам понять, что и они подвержены закону времени, и т. д.

Этот злосчастный концерт остался бы, разумеется, самым черным пятном во всей карьере Федора Ивановича, если бы не счастливая случайность и не вмешательство одного поляка, сумевшего в эти минуты остаться на высоте положения и оценить его по достоинству. Мы должны были уезжать из Варшавы вечером. До отъезда у меня оставалось несколько свободных часов, и я зашел по делам в театр, к тогдашнему директору варшавской оперы С. Вхожу к нему в кабинет; первое, что вижу у него на столе, это все газеты с подчеркнутыми красным карандашом рецензиями. И С. мне говорит буквально следующее:

— Мне стыдно за нашу печать. Как можно было писать такие вещи про Шаляпина! Шаляпин! Да ведь одно его присутствие в Варшаве уже честь для нас. Ну, был не в ударе, всякое бывает. А вот если бы он сейчас выразил желание спеть у меня в опере «Бориса», я бы, не колеблясь, подписал с ним контракт на два спектакля.

— А вы знаете, — говорю, — сколько он получает за спектакль?

— Сколько бы ни получал,

Надо ли говорить, чем все это кончилось? Мы условились договориться о деталях по телеграфу, а сам вечером в поезде говорю Шаляпину:

— А что, Федор Иванович, вы бы сказали, если бы вам предложили спеть в Варшаве «Бориса»?

Он посмотрел на меня недоверчиво.

— Да что вы, — говорит, — смеетесь? Меня тут чуть не жуликом обозвали.

А потом, когда я ему рассказал, в чем дело, загорелся.

— Ах, так, — говорит. — Ну, хорошо, я им покажу, как Шаляпин поет.

И показал. Когда через несколько месяцев его гастроли состоялись, это был триумф беспримерный. Да и пел он действительно на этот раз как никогда. Потом ежегодно, до 1938 года, он приезжал в Варшаву, и каждый его приезд был праздником в театральной жизни польской столицы.

Правдивость была вообще характерной чертой Федора Ивановича. Он не переносил лжи — физически не умел лгать. Вот маленький штрих, характеризующий его с этой стороны.

Как-то однажды он напел новые пластинки для фирмы «Голос его хозяина». Через несколько дней при встрече я его спрашиваю:

— А сколько за последний год в Англии было продано пластинок «Блохи»?

— Много, — отвечает, — четыре тысячи штук.

И так гордо на меня посмотрел. Что греха таить, к славе он до конца дней был неравнодушен.

На другой день, чуть свет — звонок по телефону.

— Это я, — слышу в трубке. — Шаляпин. Вы, тово, простите... Я вам вчера поднаврал. Не четыре тысячи пластинок продано, а всего около двух. Вчера ночью пришел домой и просмотрел отчет фирмы: около двух тысяч.

Это тоже было огромным успехом. Но Шаляпин не мог себе простить маленькой лжи, вероятно, думал о ней целый вечер и наутро поспешил «сознаться».

Был один человек, которого Шаляпин по-настоящему уважал, а кроме того, и побаивался. Это Рахманинов. У Шаляпина, как вообще у всякого артиста, была слабость — поговорить об искусстве, о музыке, высказать на этот счет свои мысли, которые, как это часто бывает среди замечательных исполнителей, не были всегда достаточно... ценными. И вот когда при этом присутствовал Рахманинов, он неизменно начинал как бы в рассеянности постукивать средним пальцем по столу и, пристально глядя на Шаляпина, многозначительно говорил:

— Федя!

И Федор Иванович покорно умолкал. Никто другой, разумеется, не мог бы себе этого по отношению к Шаляпину позволить».

●

У Шаляпина были замечательные руки — пластичные и выразительные, как ни у кого другого. Рассказывая что-нибудь, он ими жестикулировал с таким искусством, что одним, почти незаметным движением кисти или даже пальцев создавал живой и сложный образ передаваемого. Я всегда этими его руками любовался.

С этими руками у меня связано и самое тяжкое воспоминание о Федоре Ивановиче. Это было во время моего последнего свидания с ним, за шесть дней до его смерти.

Шаляпин встретил меня, как всегда, широким русским приветственным жестом, усадил около себя, потребовал, чтобы Мария Валентиновна принесла нам рому.

Разумеется, как всегда в таких случаях, я начал убеждать больного, что у него великолепный вид, что он скоро поправится и прочее. Шаляпин безнадежно махнул рукой:

— Эх, бросьте! Плохо мое дело. А, по совести говоря, жаль. Рановато. Скажу вам по правде, хотелось бы отхватить еще несколько годков.

Он говорил, а я смотрел на его руки. Но они были уже мертвыми. В Шаляпине первыми умерли его руки.

И когда через шесть дней я пришел к нему вновь, он лежал уже на своем смертном одре (странно, он показался мне меньше своего роста), во фраке, насупленный, важный. И первое, что мне бросилось в глаза, это были его мертвые руки. Они были такими же, какими я видел их за шесть дней до того.

●

Л. Никулин рассказывает в своей книге «Люди русского искусства»:

«В годы, когда его духовные и телесные силы были в полном расцвете, Шаляпин позировал для портрета художнику Коровину.

Был летний день, он стоял, освещенный полуденным солнцем. Расстегнув ворот, запрокинув голову, он глядел в облака, проплывающие над верхушками кипарисов. И чувствовалась высокая гармония в этом сочетании великолепно сотворенного человека и вечной красоты окружающей его природы.

И вдруг Коровин вздохнул и сказал:

— Построить такого человека и потом спихнуть его в яму... Эх, природа — дура!».

125

«ТЕПЕРЬ И В ЧАС МОЕЙ СМЕРТИ...»

(Окончание. Начало на 16-й стр.)

девший массой, чутко откликавшейся на смены его настроений, он был любим. Мне запомнилась его рослая фигура, мягкие линии удлиненного лица и странное впечатление контраста между реакцией аудитории и грустноватыми, усталыми интонациями низкого голоса певца...

Сальвадор Альенде под приветственные крики вышел в сопровождении членов правительства, военных в ярко-зеленых формах с золотом нашивок и орденов, жены в белом платье с сумочкой в руке. Был он старше своих портретов. Слегка вьющиеся, седеющие волосы, гладко зачесанные над большим лбом, очки в роговой оправе, седеющие усы, серый пиджак, белая рубашка. Долго стоял на трибуне, пока звучали аплодисменты, приветствия, поднял руку. Усиленные репродукторами, разнеслись над затихшей толпой первые слова:

— Товарищи! Я прошу убрать лозунги и портреты, чтобы я мог видеть лица собравшихся здесь...

Президент говорил о падении цен на медь, о саботаже на предприятиях, об инфляции, о трудностях с продовольствием, которые переживает страна. О том, в какие страны он поедет и о чем будет вести переговоры. Говорил о величии и сложности начинаний, с которыми столько надежд связывает народ, о вере в народ и его победу.

...Долго еще после конца митинга длился замедленный цветной отлив людских масс по главным магистралям, унося с собой знамена, оставляя пену оберток, листовок, газет на асфальте. Сидели на мостовых, прислонившись спинами друг к другу, в кузовах и на капотах машин, на склонах Серро Санта Люсия, пели, стояли, окружив пристроившегося на подоконнике здания уличного оратора, стекали по лесенкам с холма. И мы с Мануэлем, влив в пересохшее горло по бутылке кока-колы, до позднего вечера бродили в толпе, музыке и свете фонарей.

Мануэль объяснял мне систему регулирования обесценившихся эскудо и зарплаты, которая была повышена тремя уровнями так, что самые низкооплачиваемые слои даже кое-что выиграли, среднеоплачиваемые ничего не потеряли, а специалисты, инженеры, интеллигенция понесли урон,— во всяком случае так я его тогда поняла.

— Альенде выражает интересы рабочего класса, а рабочие в стране не составляют большинства, — перевел он слова одного оратора. — Он не привлек на свою сторону средние слои, в этом ошибка, в этом сложность ситуации!

— Я не состою ни в одной партии,— говорил Мануэль.— Ни одна из программ не выражает меня полностью. Я не против политики Альенде, я не могу быть против национализации рудников и крупных предприятий. Но мне этого мало! Я за то, чтобы преобразования шли дальше. Я за мир без границ, без насилия, войн, за полное самовыражение каждого народа в мировой культуре и управлении миром...

Я с нежностью и грустью смотрела на лицо Мануэля в смещениях вечернего света и теней. Расширенные глаза под чернотой длинных ресниц, трепещущие крылья носа, тонкая шея в распахнутом вороте рубашки... К одной партии, думала я, он все-таки принадлежит — к разноплеменной, неистребимой, прекрасной партии юных максималистов.

●

Как нестерпимо горька была моя следующая встреча с Франсуазой... С одной Франсуазой, без Мануэля. Втроем нам уже никогда не увидеться.

В последний раз я видела их вместе в самом конце прошлого года. Кончился срок совместной с чилийцами работы нашего «Ноглики» — нелепое название судна, один капитан только и знал, что оно означает какой-то населенный пункт на Дальнем Востоке, да и он не был в этом совсем уверен,— наших и чилийских ихтиологов, гидрологов, кончился прощальный вечер в «Институте дружбы». Мануэль, Франсуаза в серебряном бальном платьице и еще студентов шестнадцать провожали нас до причала.

И вот отвалила шлюпка, все шире становится полоса воды между нами, а они все стоят у самой воды, на нижних ступенях, все машут руками и долго, пока мы можем их слышать, скандируют по-русски: «Я люблю «Ноглики»!», «Я люблю «Ноглики»!» В шлюпке ребята тоже стоят, тоже машут руками. По лицам их я вижу, что не только мне сейчас до слез хорошо и грустно слышать эти слова под небом Южной Америки.

●

Все, что я могла узнать о Чили позже, я узнавала из коротких газетных строк:

— В Чили совершен военный переворот. — Убитый президент Сальвадор Альенде был спешно похоронен. — Военная хунта производит массовые аресты сторонников Народного единства. — Минувшей ночью были казнены два бывших министра. — Тюрьмы страны переполнены. — Только в одной из столичных клиник зарегистрировано более тысячи смертей. — Информационные агентства сообщают о массовых убийствах. — На стадионе «Насиональ»... число узников достигает 15 тысяч. — На улицах Сантьяго, как во времена средневековой инквизиции, горят огромные костры из книг.— Меня доставили на стадион «Насиональ» в Сантьяго... Нам предстояло пройти через знаменитый «коридор»: два ряда солдат и карабинеров, которые пинали ногами и били прикладами арестованных... На всем пространстве от ворот до трибун находилось множество людей. Из душевых комнат... доносились крики товарищей, которых подвергали пыткам. Крики неизменно обрывались автоматной очередью. Мы не могли сосчитать, сколько раз слышали это: 50, 100 или 200. Арестованных пытали электрическим током, накачивали водой, заключенных избивали медными палками, покрытыми резиной. Мы постоянно голодали... Когда меня привели в подвал, я увидел 50—100 трупов, покрытых брезентом. — Генерал Пиночет объявил, что он включился в «борьбу против марксистской диктатуры». — По другим сведениям, число убитых достигает 20 тысяч.

Фотографии. Обугленный дворец Ла Монеда. Бронемашины и солдаты в центре Сантьяго. Танки, карабинеры, расстрелы, облавы, обыски. Арестованных выводят из машины под дулами автоматов. Концлагерь «Насиональ», арестованные под дулами автоматов...

В один вечер я прочла строки чилийского поэта Висенте Уидобро:

Поэт, быть может, знает лучше всех,
Что разум сокрушительнее стали...

и эти газетные строки: «На стадион, где он раньше пел десяткам тысяч свободных граждан, брошен и народный певец Виктор Хара. И он запел заключенным... Ему сначала отрубили кисти рук, потом проломили голову и тело его повесили рядом с его гитарой».

●

...А неделю назад мне позвонила Наташа Демина, заведовавшая курсами русского языка в Институте советско-чилийской культуры, который мы называли институтом дружбы, и сказала:

— Приезжайте, Франсуаза здесь.

Это было невероятно, но Франсуаза сидела в московской квартире.

— Чао! — приподняла она руку знакомым жестом, и по лицу ее прошла тень улыбки.

Потом, опустив глаза, устроившись с ногами в углу дивана, она курила сигарету за сигаретой, нервно говорила по-испански:

— Все документы на выезд были оформлены, билет на самолет датирован 12 сентября! Утром 11-го проснулись... Телефон не работает, на улицах солдаты... По радио передают бесконечные списки разыскиваемых полицией, — переводила Наташа. — Через две недели друг отца — он служил в авиакомпании — достал билет в Аргентину. Не спрашивайте, как я летела, через какие страны — ничего не помню. Помню только, как нас раздевали под дулами автоматов в аэропорту, обыскивали... Я подумала: последнее, что я вижу, — эти солдатские каски, приклады. Советская виза была в поясе платья зашита...

— Отец у нее адвокат, из левых, старший брат — коммунист, скрывался... — добавила от себя Наташа. — Она говорила, каждую ночь, когда на улице останавливалась машина, ждали: сейчас придут за нами. Теперь вот она уехала, а что с теми, кто остался?..

И опять лихорадочно заговорила Франсуаза.

Около ее дома в рабочем квартале Рекрео собрались люди. У них не было оружия, собрались обсудить положение. Потом началась стрельба. Выбежали из домов — увидели первую группу убитых, человек пятнадцать, дальше, в темноте, лежали остальные. То и дело от причала Вальпараисо отходят суда с арестованными и вскоре возвращаются без людей. Мэра города Серхио Васковича, брата казненного министра экономики Педро Васковича, схватили первым. Серхио был писатель, преподаватель литературы, югослав по рождению, рыжеволосый и синеглазый. Еще до путча шутили — в случае чего придется ему перекрашиваться, слишком заметен. Говорят, ему выбили нижнюю челюсть, перебивали постепенно кости рук и ног. Когда она улетала, он был при смерти. Ее знакомого несколько дней держали в Интенденсии — «Помните, у входа в порт, мы всегда проходили мимо?» — за четыре дня им дали стакан воды и кусок хлеба... наверху пытали, голыми подвешивая за руки, а убивали в подвалах... Рассказывают о солдате из Антофагасты, отказавшемся стрелять в арестованных и расстрелявшем своих офицеров. Плайя Анча, Писагуа, острова Доусон, Кирикена, стадион «Насиональ» — теперь концлагеря. А сколько их на юге страны? После пыток многих на юг ссылают. Сослали отца Мануэля, мать, говорят, за ним поехала. Виктора Хара не успели арестовать: он сам пришел на стадион «Насиональ», чтобы петь заключенным. Ему постепенно отрубали фаланги пальцев, но петь он еще мог и пел до тех пор, пока его не убили. Он, как и Альенде, всегда знал, что борьба будет на смерть, но готов был идти до конца...

В глазах ее был сухой, горячечный блеск, она говорила, говорила до тех пор, пока я не задала давно подступавший вопрос, — тогда она остановилась посреди фразы и вышла в другую комнату:

— А Мануэль? — спросила я.

...Мануэля не послали учиться в Москву, потому что он не так хорошо «выучил по-русски». Мануэль не ушел в матросы, потому что отец настоял, чтобы он учился. Он поступил в государственный технический университет. Боже мой, зачем он не ушел в море...

Ректором был коммунист Энрике Кирберг, большинство преподавателей были «левыми», как и студенты. 11 сентября они собрались в университете. И уже не вышли из его стен. Их выстраивали в шеренги и расстреливали три дня. Рассказал об этом студент, спрятавшийся в чане в столовой, просидевший в нем все эти дни.

Мануэль, наверное, и не пытался прятаться. Я почти вижу, как он стоит у стены, перед солдатами в зеленых мундирах и пуленепробиваемых касках, тонкая шея в распахнутом вороте рубашки, волосы откинуты со лба, в удлиненных, прекрасных глазах нет ужаса... потому что до последнего мгновения он не поверит, что парень в каске — одной с ним крови, одного возраста, тоже любивший, имеющий сердце и разум, а не механический пульт управления карабином, — что этот смуглый парень сможет выстрелить ему в грудь. «Человек добр, человек бесконечен, — говорил Мануэль. — Обстоятельства часто вынуждают его к жестокости. Но человек должен — потому что он может все! — оставаться сильнее обстоятельств»... Или нет, он мог и не видеть лица палача, палачу проще стрелять в спину, в затылок...

Поздним вечером мы сидели за столом. Четырнадцатилетний сын Наташи старался развеселить Франсуазу, она старалась ответить улыбкой. Мне мучительно было видеть это напряженное движение губ на милом, прелестном лице, эти неподвижные, с сухим блеском, обведенные темными кругами глаза... глаза Франсуазы, королевы красоты, всегда светившиеся счастьем, обаятельной, легкой, юной Франсуазы. Она почти не ела, не говорила больше и вздрагивала, когда за окном раздавался скрежет тормозящего грузовика — окна выходили на шумную Новослободскую улицу — или короткий звук выхлопных газов.

— Кажется, что стреляют... — будто извиняясь, объяснила она.

Через день Франсуаза уехала в Астрахань: туда отправили ее на учебу из чилийского института развития рыболовства. Шли дожди со снегом, на редкость унылый, промозглый стоял октябрь. Наверное, ей холодно было, ведь когда она уезжала, Вальпараисо зарастал геранью и розами, тяжкими чашами темно-красных, белых, чайных роз, свешивающимися за ограды.

Могут ли матери города положить розы на могилы сыновей?

«Другой дипломат рассказывает, что он видел, как грузовик, груженный трупами, бросил их в общую яму, которую сразу же засыпали землей».

Наверное, матери не знают, куда приносить цветы. В последний путь их сыновей провожают палачи, как провожали они и Сальвадора Альенде.

●

В эти дни я пронзительно помню плывущие в небесной синеве белые хребты Кордильер над рекой Мапочо, над окаймляющей ее полосой парков, над пурпурными, кленовыми аллеями и виллами района Провиденсия, над цветущей площадью Лас Лилас. Помню песни чилийцев, их лица, глаза. Помню одухотворенное лицо Мануэля. И много других лиц, встреч, впечатлений, пейзажей оживает во мне с такой отчетливостью, яркостью... с такой болью и верой. Ведь я тоже вопреки всем трагедиям, войнам века верю, что разум сильнее, чем стража застенков, верю в то, что через все периоды спадов и мрака истории проходит единая восходящая линия — к свету, добру и свободе.

Я без конца слушаю подаренную мне друзьями в Вальпараисо пластинку, траурно-черную с красной сердцевиной, негромкое гитарное вступление, потом голос певца, умершего вместе со свободой... Певца, повешенного рядом с гитарой, до последнего часа певшего заключенным.

— Встань и посмотри на вершины гор, откуда поднимается солнце, — поет он. — Сегодня время творить свое завтра. Соединим руки — ведь все мы братья по крови, — сбросим тех, кто нас лишает свободы, создадим наконец на земле царство справедливости! Мы должны быть тверды, как ствол моего ружья, и чисты, как огонь. И да будет с нами наша сила и храбрость — теперь и в час нашей смерти.

— Ahora y en la hora nuestra muerte, Amen...

КНИГИ ОБ ИСКУССТВЕ

ОТКРОЙТЕ ОКНО!

Александр Руденко. «Пределы видимости. Заметки о документальном телефильме последних лет». Издательство «Искусство». 1973. 144 стр. 56 коп.

ШЕЛ документальный телефильм о летно-спортивной школе. Усталый инструктор, в прошлом военный ас, вольно привалившись к крылу самолета, рассказывал. Не докладывал, не пояснял, не выступал, а именно — рассказывал. «Ну, сбил я «мессера», а из пике так легко не выйдешь. Последними силами тяну. А внизу женщина. Худенькая такая, в кацавейке... Стоит на платформе, поднимает руки, на которых грудной ребенок. Спасибо, мол... Умирать буду — не забуду ее!»

Помню этот рассказ, интонации летчика, лицо его, как помню «Я убит подо Ржевом». Но то — стихи (и какие!), а здесь — документ. Человеческий, нравственный.

Таким документам, запечатленным не на бумаге, а на пленке, посвятил Александр Руденко свою книгу «Пределы видимости» с очень точным жанровым подзаголовком «Заметки о документальном телефильме...». Главное, что заботит автора, — воздействие искусства, когда «жизнь фильма не прекращается с появлением на телеэкране финального титра». А рецепт такого долголетия — «движение времени, движение действительности, движение человеческой мысли». Следуя образной режиссерской разметке: первое — бой курантов на Спасской башне, второе — утренний будильник, а третье (перед чем все часовые механизмы — атрибуты патриархальности) — компьютер пятого поколения.

С суровых, даже аскетических позиций настоящего творчества смотрит Руденко на ленты, снятые за последние годы телевидением.

Он требует беспокойной теледокументалистики. В ТВ документальном, по мнению Руденко, существуют две линии, два стремления: наблюдение и анализ, «улыбчивая кинозарисовка» и — «мы погружены в будничный мир; обращаясь к нему для доказательств своей мысли, комментатор выражает